В ТИСКАХ ЧУЖОГО ВЫБОРА



18+

Светослава Левкой

Светослава Левкой

В тисках чужого выбора

«Автор»
2026

Левкой С.

В тисках чужого выбора / С. Левкой — «Автор», 2026

«Я был вынужден жениться не на той, которую люблю...»Одна случайно подслушанная фраза за дверью кабинета перечеркнула счастье Веры. Оказывается, её брак, в который она верила, был лишь условием сделки за наследство. А муж просто играл роль.Никита был уверен, что держит всё под контролем. Но ледяная стена, которую Вера выстроила после услышанного, и собственная ложь превращают его жизнь в ад. Он думал, что расплатился чужой судьбой, но не учёл одного: тело и сердце отказались подчиняться отцовскому расчёту.Они оба оказались в тисках чужого выбора. Но там, где рушится фальшь, начинается настоящая борьба: за себя, за свободу и за любовь, которая не входила в условия сделки.В книге вас ждут: Две точки зрения на одну историю («Её тиски» / «Его тиски») Сильная героиня с безупречным чувством достоинства Сложный, осознающий свои ошибки герой Высокое эмоциональное напряжение и глубокие чувства

© Левкой С., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Её тиски. Глава 1 5
Её тиски. Глава 2 9
Её тиски. Глава 3 12
Её тиски. Глава 4 14
Её тиски. Глава 5 16
Её тиски. Глава 6 18
Её тиски. Глава 7 20
Конец ознакомительного фрагмента. 22

В тисках чужого выбора

Её тиски. Глава 1

Вера просыпается раньше будильника — так случается почти каждое утро: внутри у неё свой, отдельный от мира отсчёт времени. Она лежит немного, не открывая глаз до конца, привыкая к яркому майскому свету, а потом поворачивается на бок и смотрит на мужа.

Никита спит так, как спят люди, которых даже во сне не отпускают цифры, сметы, отчёты и совещания: разметавшись, приоткрыв рот, одна рука закинута за голову, другая — поверх одеяла, и на этой руке чуть подрагивают пальцы — едва заметно сжимаются и разжимаются, ловя невидимый предмет. Вера смотрит на него и улыбается — без причины, просто так, потому что хорошо. Трогает взглядом хмурую морщинку между бровей, которая появляется у него даже во сне — он и во сне о чём-то беспокоится, этот вечный отличник, вечный сын своего отца. Ей хочется разгладить её пальцем, но она не решается — боится разбудить.

Тело ещё помнит ту ночь — то, как он притягивал её к себе в темноте, как безошибочно знал, где и как коснуться, чтобы у неё перехватывало дыхание. Она невольно улыбается шире, на секунду прикрыв глаза, — стараясь удержать эти ощущения ещё немного.

Когда тепло воспоминания чуть отступает, взгляд, как обычно, сам собой цепляется за детали одежды — скользит по вороту его пижамы: простой хлопок, но крой сидит безупречно, чуть шире в развороте плеч, чем стандартная линия. Она сама однажды предложила эту переделку, чтобы ткань не тянула по шву при движении. Привычка подмечать силуэт и посадку въелась настолько глубоко, что срабатывает даже сейчас — голова спешит вернуть себе почву под ногами после того тёплого, невесомого ощущения из воспоминания.

«Папа, ты был прав», — думает она вдруг, без всякого повода, просто потому что мысль приходит сама. Отец никогда не ошибался в людях. Даже в последний свой месяц, уже слабый, уже совсем угасший, он нашёл в себе силы сказать ей: «Присмотрись к Никите». Она тогда кивнула, а вышло, что он как в воду глядел.

Она тихо выскальзывает из-под одеяла.

Прежде чем спуститься на кухню, она задерживается на секунду у приоткрытой двери своей мастерской — привычка, которой не изменяет никогда, даже мимоходом. Внутри, в утреннем полумраке, белеет силуэт манекена с незаконченным жакетом с асимметричным воротником, который она начала неделю назад. На столе разложены образцы тканей, катушки ниток, эскизы, приколотые булавками к пробковой доске. В воздухе — тонкий, едва уловимый запах мела и льна, тот особый аромат, который она давно перестала замечать сознательно, но безошибочно узнала бы с закрытыми глазами в любой точке мира. Она ещё немного смотрит на всё это, прикрывает дверь мастерской чуть плотнее и спускается на первый этаж.

На кухне прохладно и тихо — та особая утренняя тишина, в которой слышно, как капает вода из крана, если не завернуть до конца. Вера включает плиту, достаёт творог, яйца, муку — руки делают всё сами, привычно, без участия головы. Сырники — его любимые, и она давно перестала об этом думать как об усилии: просто знает рецепт наизусть, как знают дорогу домой.

Она уже представляет, как он спустится — сонный, взъерошенный, обязательно потянется первым делом не к ней, а к кофе, а уже потом, во второй заход, обнимет её сзади, ткнётся носом в шею и скажет: «Пахнет счастьем». Сколько бы раз это ни повторялось, столько любви в этом.

Сырники подрумяниваются партиями, и с каждой новой она поглядывает на часы. Он не спускается. Обычно он либо уже был внизу к этому времени, либо она слышала шум душа наверху — а сейчас нет ни того, ни другого.

«Опять уснул с телефоном в руках и теперь роется в почте», — думает она без всякой тревоги, скорее с лёгким, привычным раздражением — таким, какое бывает только у людей, давно и спокойно живущих вместе. Она снимает последнюю партию сырников, накрывает тарелку полотенцем, чтобы не остыли, и идёт наверх.

Спальня пуста, кровать смята с его стороны. В ванной — тихо. Вера стоит секунду в коридоре, прислушиваясь, и улавливает голоса откуда-то снизу, со стороны кабинета свёкра.

Она направляется вниз, уже без всякой задней мысли — просто идёт позвать обоих к столу, вот и всё. За дверью кабинета звучат два голоса, и один из них, на повышенных тонах, точно принадлежит Никите. Наверное, опять спорят о делах компании в такую рань, вечно эти двое находят время для работы даже за завтраком.

Она толкает приоткрытую дверь и уже открывает рот, чтобы сказать «сырники стынут» — губы уже сложились в первый звук, рука ещё на дверной ручке, — когда до неё долетает голос свёкра, ровный, деловой, словно речь идёт об очередном пункте контракта, а не о судьбе двух живых людей:

— Ты получишь всё, что тебе причитается как наследнику, — компанию, моё имя, доверие партнёров, — но только оставаясь мужем Веры. Это меньшее, что я могу сделать для человека, который тридцать лет был мне братом. И это не обсуждается.

А потом — голос мужа, сорвавшийся на крик, и слова входят в неё, как входит холодный воздух в лёгкие зимой — резко, до озноба:

— Я был вынужден жениться не на той, которую люблю, — потому что ты поставил такие условия ради наследства!

Недосказанное «сырники стынут» так и остаётся только мыслью, забытой, ненужной. Рука на ручке двери не двигается — ни вперёд, ни назад: тело замерло раньше, чем разум успел понять — сделать сейчас шаг в любую сторону уже нельзя.

Мужчины, почувствовав за спиной чужое присутствие — а может, услышав её шаги на пороге, — оборачиваются оба разом.

Три пары глаз встречаются в полной тишине.

Она не помнит, как оказывается на лестнице. Не чувствует ступеней под ногами, не помнит, держится ли за перила. Звуки вокруг становятся глухими — так бывает, когда резко уходишь под воду, — шаги, дыхание, даже стук собственного сердца доносятся откуда-то издалека, сквозь толщу, не пропускающую ничего лишнего. Пальцы леденеют раньше, чем остальное тело успевает понять почему. К горлу подкатывает тошнота, воздуха не хватает — грудную клетку сдавливает невидимый обруч.

Она приходит в себя уже у окна в спальне, вцепившись обеими руками в подоконник так, что побелели костяшки. В стекле — её отражение, но узнать в нём себя получается не сразу: уже совсем незнакомое лицо, слишком бледное, с расширенными зрачками — на неё смотрит кто-то чужой, случайно оказавшийся по ту сторону стекла.

Первая мысль, которая возвращается к ней, — не про Никиту, не про наследство и не про его отца. Первая мысль — про большой самообман: «Пять минут назад я думала, что безмерно счастлива».

Ей становится стыдно за саму эту мысль.

Перед глазами вдруг всплывает картина — гораздо более старая, почти забытая за годами взрослой жизни. Ей лет семь, и отец, вернувшись с работы позже обычного, приносит ей маленькую жестяную коробку с разноцветными нитками и обломком мела для раскроя — просто потому что она весь предыдущий вечер увлечённо рассказывала ему, как хочет шить платья для своих кукол, а он, кажется, единственный из всех взрослых вокруг, отнёсся к этой детской болтовне всерьёз. Он тогда сидел с ней на полу до глубокой ночи, неумело помогая вдевать нитку в иголку, хваля даже самые кривые, неровные швы с таким искренним восторгом, словно она создавала произведение искусства, а не портила старую наволочку.

— Из тебя выйдет великий модельер, — сказал он тогда, серьёзно, без тени снисходительности, какая обычно звучит во взрослых похвалах детским поделкам. — Я в этом даже не сомневаюсь.

Эта коробка с нитками до сих пор где-то на антресолях родительской — теперь уже просто её собственной, пустующей — квартиры.

В детстве Вера была тихой. Во дворе не рвалась в общие игры, в школе держалась особняком, и одноклассницы принимали её молчаливость за гордость, хотя на самом деле она просто не знала, как первой заговорить. С тканью ей было проще, чем с людьми, но по-настоящему собой она бывала только рядом с отцом: смешной, упрямой, загорающейся от любой новой идеи.

Далее перед глазами всплывает больничная палата — тот резкий, ни с чем не спутываемый запах лекарств и хлорки, вплетающийся в память крепче любых слов. Отец, уже почти прозрачный, тает в белых простынях, а она сидит рядом, держа его исхудавшую, почти невесомую руку.

Друга отца она до тех пор почти не знала: когда-то они вместе начинали дело, но вскоре после её рождения отец уехал в другой город, передав ему свою долю, и все эти годы их дружба держалась на редких звонках и открытках к праздникам. В родной город отец вернулся только тогда, когда они с Верой остались вдвоём, и обнаруженная болезнь после похорон супруги уже не оставила ему выбора. Старому другу он ничего не говорил и ни о чём не просил, пока мог справляться сам.

Аркадий Львович тогда стоял у изголовья кровати — высокий, безупречно одетый даже здесь, среди капельниц и мониторов, — и произнёс с той же ровной, деловой интонацией, какую она только что услышала за дверью кабинета:

— Обещаю тебе, Матвей. Я позабочусь о Вере. Она ни в чём не будет нуждаться.

Тогда эти слова звучали как утешение — почти нежность, редкая для этого сурового человека. Сейчас, стоя у окна спальни, Вера понимает: это было не обещание. Это было заключение сделки — просто она, сидевшая у постели умирающего отца, не расслышала в этих словах ничего, кроме доброты.

«Присмотрись к Никите», — сказал ей отец в тот вечер, когда Аркадий Львович впервые привёл сына в палату, — уже совсем слабый, уже почти неспособный держать глаза открытыми дольше нескольких минут. Она кивнула не потому, что поверила в этого незнакомого мужчину, а потому что не смогла отказать умирающему в последней просьбе: ему так важно было успеть увидеть её не одинокой. Только теперь эта фраза отдаётся совсем другим эхом: может быть, отец знал больше, чем ей казалось. Может быть, он тоже был частью этой сделки — не желая ей зла, а просто веря, что устраивает её будущее лучшим доступным способом, точно так же, как когда-то, наверное, Аркадий Львович верил, что устраивает будущее собственного сына.

Предательство оказывается двойным. Никита предал не только её любовь. Свёкор предал память умершего друга, превратив последнее обещание у постели в холодный расчёт.

Она слышит быстрые шаги на лестнице — Никита. Он влетает в спальню, тяжело дыша, лицо перекошено не виной, а первой, защитной злостью — такой, что вспыхивает у людей, привыкших нападать раньше, чем защищаться.

— Вера! Зачем ты вообще подходила к кабинету?! — почти кричит он, останавливаясь в паре шагов от неё. — Ты хоть понимаешь, в каком контексте мы это обсуждали?! Отец давно ведёт свою игру, я просто пытался его осадить!

Она не оборачивается. Не отвечает. Продолжает смотреть в стекло, на то отчуждённое, неподвижное лицо, которое, кажется, вообще не слышит ни единого его слова.

— Ты вообще... — он подаётся вперёд, голос срывается на новый виток возмущения, — ты бы хоть спросила, прежде чем...

Он не договаривает — натыкается на стену. Не крик, не слёзы, не что-то, с чем можно спорить или что можно оправдывать, — а полное, абсолютное отсутствие реакции. Тишина, в которую его слова падают и разбиваются, не оставляя эха.

В стекле, рядом с её отражением, вдруг проступает и его лицо — он подошёл достаточно близко, чтобы попасть в то же окно. Что-то в этом отражении меняется — не просто испуг — кажется, он впервые услышал себя со стороны. Злость гаснет так же быстро, как вспыхнула, и на её месте проступает неподдельный испуг. Он тянется к ней, но не решается коснуться, и голос становится тише:

— Вера, послушай, это не… — он не договаривает, начинает заново: — Ты не так поняла, я имел в виду совсем другое, я…

Он путается, обрывает фразы на середине. Слова, которые так легко были произнесены отцу пару минут назад, сейчас разбегаются от него в разные стороны.

— Не волнуйся, — говорит она наконец, тихо и очень ровно, впервые за всё это время размыкая губы. — Ты не потеряешь своё наследство. Но прежней жизни, как раньше, между нами больше не будет.

В голосе нет ни истерики, ни крика — только холод, за которым угадывается что-то ещё более тяжёлое, чем гнев: разочарование, не имеющее дна.

Никита осекается. Из его глаз уходит всякая ярость, и на её месте — неподдельный ужас перед тем, что он натворил. Он открывает рот, но не находит ни единого слова, которое могло бы пробить эту стену. Молча разворачивается и уходит. Она слышит его шаги — сбитые, неровные, как у человека, которого только что чуть не столкнули с обрыва. Хлопает входная дверь этажом ниже, потом звук мотора за окном, отдаляющийся, пока не стихает совсем.

Вера так и остаётся стоять лицом к окну, где всё ещё по-утреннему светло и совершенно, оскорбительно обыкновенно. Она не плачет. Внутри пусто — так пусто, что она вся, до последней капли, ушла в те несколько слов у окна, а на то, чтобы чувствовать что-то ещё, сил уже не осталось.

Её тиски. Глава 2

В дверь стучат — легко, почти не требуя ответа. Марина Аркадьевна заходит в комнату Веры и аккуратно прикрывает за собой дверь.

Вера понимает, что это свекровь. Она одна из немногих, кто стала ей и другом, и родным человеком в этой семье.

Марина Аркадьевна садится на край кровати — не нависает, не давит взглядом. Вера продолжает стоять у окна.

Свекровь начинает не с утешений, а с прямоты — хотя голос чуть подрагивает на середине первой же фразы — словно она сама не до конца уверена, что имеет право сейчас что-то говорить:

— Я не буду говорить тебе, что всё наладится. И не буду делать вид, что ничего не произошло. Но я прошу тебя... — она замолкает на секунду, подбирая слово, — не торопись. Пожалуйста. Не принимай сейчас никаких решений. Жизнь редко бывает такой простой, какой кажется сразу после удара.

Вера реагирует не сразу — молчание, взгляд в сторону. Свекровь продолжает тише, точно выдавая что-то, чего сама от себя не ожидала:

— Возможно, потому что я знаю, что такое учиться жить с тем, что досталось не по своему выбору.

Она вдруг замолкает — резко, явно испугавшись собственных слов, — и несколько долгих секунд смотрит в одну точку где-то за плечом Веры. Когда она заговаривает снова, голос звучит совсем тихо, почти неохотно, как признание, которое давно рвалось наружу и наконец нашло случайную щель:

— Я не хочу, чтобы мой сын искалечил тебе жизнь так же, как его отец однажды искалечил мою.

Она тут же спохватывается — коротко качает головой, отгоняя эту мысль, возвращаясь к прежней, более безопасной теме:

— Даже из такого можно выйти не сломанной — если не торопиться. Дай себе время, прежде чем решать, что делать дальше. Решения, принятые сгоряча, редко бывают правильными.

Уйти — единственная мысль здесь и сейчас, которая пробивается сквозь оглушение, несмотря на её утренние слова Никите. Это не решение, а скорее рефлекс: просто знание, что выход существует. Квартира отца стоит пустой, ключи лежат в ящике стола, и Вера знает, что могла бы поехать туда хоть сегодня. В этом доме они поселились сразу после свадьбы: Аркадий Львович настоял, что места хватит всем, а ей, пока отец угасал в больнице, было не до споров и не до переезда. Потом стало не до этого и вовсе: все силы уходили на то, чтобы пережить потерю, и вопрос, где они живут, как-то перестал быть вопросом. А сейчас мысль открыть дверь квартиры, где отца больше нет, пугает почти так же, как мысль остаться здесь.

Марина Аркадьевна поднимается, но у двери оборачивается — не к Вере, а к лестнице, ведущей вниз, туда, где за тяжёлой дверью кабинета остался Аркадий Львович. Смотрит туда долгим, тяжёлым взглядом, и что-то в её лице меняется, становится старше, тяжелее — под привычной сдержанностью на миг проступает то, что она носит в себе уже очень давно.

— Я прожила в этой тирании почти тридцать лет, Вера, — произносит она вдруг, всё так же глядя вниз, словно обращаясь скорее к закрытой двери кабинета, чем к невестке. — Мой муж ломает всё, к чему прикасается. Дела, людей, себя самого. И я не позволю ему сломать ещё и тебя.

Она произносит это буднично, почти без выражения — так говорят о давно известном факте, а не открывают страшную тайну. Потом, осознав, что сказала лишнее, сильно выдыхает воздух из груди и уже другим, деловитым тоном бросает:

— Одевайся. Едем в город, тебе нужно развеяться.

Вера не спорит — сейчас ей легче подчиниться чужому решению, чем формулировать своё.

В машине Вера молчит, смотрит в окно, отвечает односложно. Свекровь не пытается разговорить её напрямую — вместо этого начинает рассказывать что-то заведомо постороннее и слишком подробное: длинную историю про новую коллекцию в бутике, куда они едут, про дизайнера, с которым сегодня «случайно» пересекутся. Говорит чуть более оживлённо, чем того требует тема — с явным нажимом на лёгкость.

Вера понимает: свекровь специально уводит её мысли в сторону, не давая зациклиться. Где-то внутри мелькает раздражение — глухое, беспричинное, почти детское: *зачем мне вся эта коллекция, если меня самой как будто больше нет?*Но следом, почти сразу, — укол благодарности за эту очевидную, неприкрытую заботу, и Вера сама не может понять, какое из двух чувств сильнее.

Они заходят в один бутик за другим — свекровь явно наслаждается ролью, ведёт себя не как спасательница, а просто как женщина, которая любит хороший шоппинг. Покупает Вере одну вещь за другой, почти не спрашивая мнения, — если дать время подумать, то та точно откажется.

В первом же магазине, стоило консультантке развернуть перед Верой рулон шёлка, её на мгновение мутит — сам блеск ткани, её скользкая, слишком праздничная гладкость вызывает почти физическое отторжение — напоминание о том, каким нарядным должно было быть её счастье и каким фальшивым оно оказалось на самом деле. Вера ненадолго отворачивается в сторону, справляется с собой, и, повернувшись, заставляет лицо остаться нейтральным.

В одном из бутиков их встречает чрезмерно услужливая консультантка — сыплет комплиментами через фразу, о любой вещи говорит одно и то же: «это просто создано для вас». Марина Аркадьевна кивает, благодарит, покорно принимает очередной отрез шёлка на просмотр — а когда девушка наконец отходит за следующим размером, наклоняется к Вере и тихо, одними губами роняет:

— Ещё один комплимент — и мне придётся начать платить ей за актёрское мастерство отдельно.

Вера растягивает губы в улыбке — сперва просто из вежливости, чтобы не разочаровать свекровь, — но в шутке действительно есть что-то смешное, и против воли, словно прорвавшись сквозь плотину, у неё вырывается короткий, почти испуганный смешок. Она тут же зажимает рот ладонью, не понимая, откуда взялся этот звук у неё, оглушённой, ещё утром не способной вымолвить ни слова.

И тут же — короткий укол. Смех обрывается сам собой: она вдруг вспоминает, что не имеет на него права. Взгляд тускнеет, она отворачивается к вешалке с одеждой, делая вид, что что-то там разглядывает.

Марина Аркадьевна, кажется, замечает эту перемену, но не комментирует — просто берёт с полки что-то новое и как ни в чём не бывало продолжает:

— Так, а вот это тебе точно нужно примерить.

Последний магазин за день встречает их приглушённым светом и тишиной — никакой суеты предыдущих бутиков. Марина Аркадьевна сама, без вопросов, начинает выбирать — снимает с вешалок то, что откровенно красиво, даже не спрашивая размер или предпочтения Веры.

Вера смущена — непривычно, что кто-то выбирает для неё такие вещи, да ещё в такой день. Она смотрит на кружевной шёлк на прилавке, и внутри поднимается глухое, почти телес-

ное неприятие — недоумённый вопрос без ответа: *зачем?* Зачем ей это сейчас, когда сам смысл слова «муж» рассыпался утром на осколки прямо у двери кабинета? Носить это — для кого? Для чего? Пытается отказаться, и не с первого раза:

— Марина Аркадьевна, не нужно, правда, — говорит она, чуть отступая от вешалки. — Мне сейчас точно не до этого.

Свекровь, будто не услышав, продолжает перебирать вещи. Вера повторяет твёрже, почти прося:

— Пожалуйста, не сейчас. Давайте в другой раз.

Только теперь свекровь останавливается, поворачивается к Вере, и голос Марины Аркадьевны становится серьёзнее, без прежней лёгкости:

— Я понимаю... — начинает она и осекается, словно ищет слова точнее тех, что вертятся на языке. — Я понимаю, что близости между вами сейчас быть не может. Я не прошу тебя... — она снова запинается, поправляет себя: — Не носи это для него. Для себя. Чтобы видеть в зеркале не... — она неловко взмахивает рукой, не находя подходящего слова, — не жертву. Просто себя. Красивую. Живую.

Повисает долгая пауза. Вера не сводит глаз с кружева в руках свекрови, и отторжение никуда не девается — оно по-прежнему здесь, тяжёлое, тёмное, — но где-то под ним, глубже, начинает медленно, почти незаметно проворачиваться что-то ещё, первый тяжёлый оборот шестерёнки, сдвигающей всю конструкцию на миллиметр. Не облегчение. Не согласие. Просто первая трещина в стене, за которой пока ничего не видно. Она коротко кивает — не благодарностью на словах, а именно вынужденным, через силу, жестом, — и позволяет свекрови довести дело до примерочной.

Они выходят из магазина в сгущающиеся сумерки — день закончился быстрее, чем Вера ожидала. В машине, по дороге домой, она молчит, но это уже другое молчание, не такое, как было утром — не оглушение, а что-то похожее на затишье после того, как эмоции наконец нашли, куда себя деть.

Она смотрит на пакеты на заднем сиденье — на всё то, что купила ей за этот день свекровь — и на одну секунду в сознании мелькает мысль: *может быть, у неё ещё есть право быть живой, а не только пострадавшей стороной чужого решения.* Она тут же пугается этой мысли, и та гаснет, не успев толком оформиться, — слишком рано, слишком хрупко, чтобы удержаться.

Это не облегчение — облегчения пока и близко нет, и не будет ещё долго. Это лишь едва заметная брешь в стене оглушения, за которой, возможно, когда-нибудь появится способность жить дальше. Но сегодня до этого ещё очень далеко.

Она поворачивает голову к окну и, кажется, впервые за день не пытается сдержать выступившие на глазах слёзы.

Её тиски. Глава 3

Вера стоит перед зеркалом в ванной, разглядывая себя в новом белье. Не любуясь — скорее проверяя, работает ли то, о чём говорила свекровь. Кружево ложится безупречно, линия белья подчёркивает изгиб талии и бёдер. Ткань прохладная на ощупь, непривычная — тонкий шёлк скользит под пальцами, когда она проводит ладонью по боку — проверяя, действительно ли это её собственная кожа под ним, а не чья-то чужая, одолженная на один вечер. В воздухе ванной ещё держится запах нового белья — слабый, синтетический, ещё не успевший впитать её собственный аромат, — и этот запах почему-то раздражает больше самого белья: напоминание о том, что оно куплено сегодня, специально, ради чего-то, чего она сама пока не может понять.

Но чувствует ли она себя от этого хоть немного собой прежней, той, что была до сегодняшнего утра?

Внизу хлопает входная дверь. Шаги на лестнице — уверенные, знакомые до автоматизма.

Сердцебиение учащается. Она замирает, вслушиваясь в эти шаги так внимательно, как не вслушивалась уже давно, — пытаясь по одной только их скорости угадать, в каком он настроении, собирается ли разговаривать с ней или, как и она сама, предпочтёт просто лечь молча. Мгновение тянется дольше, чем должно бы, — короткая, странная пауза перед тем, что сейчас произойдёт.

Она возвращает взгляд к зеркалу. Шаги входят в спальню — и звук вдруг обрывается. Пауза длится куда дольше, чем нужно, чтобы просто снять пиджак и повесить его на спинку стула.

Вера позволяет себе улыбнуться уголком губ.

Час назад, укладывая последнюю подушку в ровный ряд посередине кровати, она на секунду задержала дыхание, не выпуская её из рук — раздумывая не о том, стоит ли класть, а о том, готова ли по-настоящему держать эту границу дальше первой ночи. Рука не дрогнула.

Она выходит из ванной.

Никита стоит у изножья кровати, глядя на подушки, как на совершенно незнакомую конструкцию, которую с ходу не разобрать. Он не шевелится, не оборачивается на звук открывшейся двери — всё его внимание на этой ровной линии посередине. Вера слышит, как он выдыхает — коротко, почти беззвучно, — и этот выдох говорит ей больше, чем сказали бы любые слова: он понял, что это значит, с первого взгляда.

Вера останавливается в проёме, наблюдая за ним несколько секунд. Плечи у него напряжены, взгляд перебегает с одного края кровати на другой, словно он пытается найти в этой картине хоть какую-нибудь лазейку, объяснение, случайность.

Тогда он поднимает глаза — и видит её.

Что-то в его позе меняется: плечи чуть опускаются, взгляд, только что растерянно скользивший по подушкам, останавливается на ней дольше, чем следовало бы. Он открывает рот — но так и не произносит ни звука.

Вера, не глядя на него, проходит к своей половине кровати, откидывает одеяло и ложится, отвернувшись к стене.

Слышно, как он уходит в ванную, принимает душ и возвращается. Какое-то время стоит у кровати, затем ложится.

Свет гаснет. В темноте комнаты повисает тишина — не та привычная, домашняя, а тяжёлая, ощутимая почти физически — в воздухе между ними натянулась невидимая нить.

Вера слушает его дыхание — сначала неровное, потом медленно выравнивающееся. Она не уверена, спит он или просто лежит так же неподвижно, как она сама, глядя в темноту.

Держать эту стену оказывается куда труднее, чем построить её. Выложить подушки в ряд заняло несколько минут. А вот лежать теперь так — не поворачиваясь, сдерживая порыв придвинуться ближе, — требует сил, которых у неё почти не осталось после этого дня.

Это не месть. Об этом она думает отчётливо, отвечая кому-то невидимому, кто мог бы её в этом обвинить. Это единственный способ остаться собой хотя бы до утра.

Она думает о том, сколько ещё таких ночей ей предстоит выдержать — неделю, месяц, до конца этого брака, каким бы он теперь ни оказался. Мысль эта не пугает так, как должна была бы; скорее отзывается тихой, упрямой решимостью: если уж выдерживать, то на своих условиях, за своей же выстроенной стеной, а не за той, что кто-то попытается выстроить вместо неё.

Но решимость держится, пока она думает. Стоит мыслям замолчать — и темнота делает то, чего не сделал день: разрешает вспоминать. Его ладонь на её талии прошлой ночью — была ли в ней правда или только хорошо сыгранная роль? Утреннее «Пахнет счастьем», которого она сегодня так и не услышала, — а до этого слышала сотни раз и ни разу не спросила себя, правда ли он так думает. Пижама, которую она однажды перекроила под его плечи. Сырники, рецепт которых она знает наизусть. Каждая мелочь последних месяцев переворачивается обратной стороной, как ткань, у которой вдруг стал виден шов, и она ищет хоть одно воспоминание, оставшееся нетронутым, — и не находит. Слёзы текут сами, беззвучно, наволочка под щекой становится мокрой, и она не вытирает их.

Она закрывает глаза, так и не повернувшись к нему, и долго ещё слушает в темноте его ровное, размеренное дыхание — и своё собственное, частое, сбивающееся, застрявшее где-то в горле.

Её тиски. Глава 4

Три дня проходят в холодном, вежливом сосуществовании — почти незаметно, если не считать того, что каждый час в этой тишине проползает в черепашьем темпе.

Дни растягиваются в вязкую, почти неразличимую массу, где утро от вечера отличается лишь светом за окном. Вера почти не выходит из комнаты — то лежит, глядя в потолок, то садится у окна, наблюдая, как меняется свет на лужайке, не в силах ни на чём удержать внимание дольше нескольких минут. Пытается читать — глаза скользят по строчкам, но смысл ускользает — буквы разучились складываться в слова. В один из дней вытаскивает из шкафа старый альбом с набросками — свои же эскизы за последние два года, — листает его без всякой цели, откладывает на середине, так и не поняв, зачем вообще брала в руки. Пробует навести порядок в ящике с нитками и пуговицами, рассортировать по цвету, — но бросает на середине, оставляя всё в ещё большем беспорядке, чем было. Несколько раз берёт в руки телефон, чтобы написать подругам, и каждый раз откладывает — не находит сил объяснять хоть что-то, даже самой невинной ложью «всё в порядке».

Марина Аркадьевна заглядывает к ней раз в день — коротко, ненавязчиво, приносит чай, который остывает нетронутым, произносит несколько тёплых слов и уходит, не настаивая на разговоре. Кажется, она понимает: сейчас Вере нужно просто пережить эти часы, а не проговаривать их вслух.

Сон приходит рывками, урывками, вязким, без ощущения отдыха.

На рассвете третьего дня Вера просыпается с абсолютно ясной, звенящей пустотой в голове — и с внезапным, почти паническим желанием сделать хоть что-то, что напоминало бы прежнюю жизнь. Впервые за эти дни спускается вниз к завтраку.

Наутро после того, как всё открылось, Никита, как мимоходом обмолвилась Марина Аркадьевна, растерянно топтался у плиты, не понимая, куда делся привычный порядок вещей и его завтрак. Сейчас, два дня спустя, он просто молча берётся за сковородку сам — без удивления, с той усталой обречённостью, с которой человек повторяет то, что у него не выходит.

Вера садится за стол с чашкой кофе и смотрит, как он роняет скорлупу в миску, слишком долго возится с посудой, путается, какую конфорку включать. Она не помогает и не комментирует — просто наблюдает со стороны, без сочувствия, но и без злорадства, как за фактом чужой жизни, которая её больше не касается.

Она поднимается и уходит из кухни в тот момент, когда со сковороды начинает тянуть лёгким дымком — яичница подгорает. Не дожидается развязки.

В своей мастерской она садится за стол и достаёт эскиз — пиджак с необычным воротником и асимметричными рукавами, который придумала совсем недавно, ещё до того, как весь её мир разделился.

Она берёт карандаш и пытается довести деталь до ума. Но линии не идут: воротник, который в голове держал безупречную форму, на бумаге расползается вбок, рукав съезжает по пропорциям — раз, другой, третий. Пальцы, обычно послушные, вдруг кажутся чужими, слишком тяжёлыми для тонкого инструмента; карандаш дрожит едва заметно, но этого достаточно, чтобы линия, которая должна была лечь одним уверенным движением, выходила рваной, неровной, словно её вела чужая, неумелая рука. Она стирает, начинает заново, вдавливая ластик в бумагу сильнее, чем нужно, оставляя на листе серые разводы и мелкие катышки резинки, — и снова та же ошибка: рука вдруг разучилась делать то, что хорошо умела.

После нескольких неудачных попыток приходит понимание: это не случайность и не усталость одного дня — это тупик. Руки не слушаются, потому что голова занята совсем другим, и никакая сила воли не может заставить их работать порознь.

Она комкает лист, потом ещё один — резко, зло, не глядя, что делает. Один за другим летят на пол смятые куски бумаги с недоделанным воротником, недоделанным рукавом, недоделанной мечтой. Это единственное, что она позволяет себе сейчас — не крик, не слёзы, а вот это: рвать бумагу, потому что сказать вслух то, что творится внутри, она не готова даже самой себе.

В дверь стучат. Марина Аркадьевна заходит, окидывает взглядом рассыпанные по полу листы, но ничего не спрашивает — просто садится напротив.

— Ты не можешь сидеть здесь одна, — говорит она мягко, без нажима, как советует старший друг, а не как отдаёт распоряжение. — Тебе нужно выходить, видеть людей. Запираться с одними мыслями — последнее, что сейчас пойдёт на пользу.

Вера молчит, разглядывая смятую бумагу на полу. С этой тихой правотой трудно поспорить, даже если не хочется соглашаться.

Вечером она берёт телефон и открывает переписку с Наташей и Катей. Пальцы зависают над экраном дольше, чем нужно для нескольких слов, — она стирает набранное, пишет заново, снова стирает. «Привет, как вы?» кажется слишком нейтральным для того, что происходит на самом деле. «Мне нужно с кем-то поговорить» — слишком откровенно, слишком похоже на признание, к которому она пока не готова. В конце концов она останавливается на простом: «Давно не виделись, соскучилась. Кафе на неделе?» — коротко, буднично, без единого намёка на то, что творится внутри.

Наташа и Катя появились в её жизни в тот год, когда она перевелась в местный вуз, оставив прежнюю группу и прежний город. Потеряв мать и узнав о болезни отца, она приехала сюда замкнутой и молчаливой, и держаться от неё на расстоянии было бы проще всего. Но они не стали: просто сели рядом на первой же паре и ни разу не спросили, почему она ничего не рассказывает о себе. Наверное, поэтому они и остались единственными, кому она доверяет без оглядки, и поэтому сейчас так страшно написать им правду.

Отправляет сообщение прежде, чем успевает передумать в четвёртый раз.

Это немного, всего лишь несколько слов в переписке. Но это первый шаг, который она делает сама.

Её тиски. Глава 5

В кафе шумно и тепло — от смеха, от звона посуды, от голосов Наташи и Кати, перебивающих друг друга. Вера смеётся вместе с ними, впервые за несколько дней не следя за собственным лицом, не проверяя, как оно выглядит со стороны. Здесь легко — так легко, что на секунду забывается, каково сейчас дома, в той тишине, где даже воздух плотнее.

— А помнишь, как ты хотела открыть свою линию одежды, когда только перевелась к нам? — Наташа отпивает кофе, щурясь от удовольствия. — Так когда же своя коллекция? После тех двух показов пора бы уже, нет?

— Веду переговоры с поставщиками тканей, — отвечает Вера, стараясь, чтобы голос звучал ровно, буднично, без того нервного напряжения, которое всё ещё живёт где-то внутри с того самого утра. — Пока рано говорить о чём-то конкретном.

— Ты вечно так говоришь, а потом раз — и уже вся улица в твоих платьях, — смеётся Катя, толкая её локтем. — Как у Никиты дела? Что-то его давно не видно.

— Он занят, — Вера пожимает плечами, отводя взгляд к чашке. — Работа, всё как обычно.

— Заезжайте к нам с Колей как-нибудь, — предлагает Наташа. — Вы такие ми-ми-ми, очень приятно на вас смотреть.

Вера улыбается, кивает, чувствуя, как это невинное дружеское замечание отзывается внутри уколом вины — за то, как далеко эта картинка «ми-ми-ми» стоит теперь от настоящей жизни за закрытыми дверьми их дома.

Телефон на столе вибрирует. «Ты где?» — от Никиты.

Вера отвечает названием кафе — коротко, без лишних слов. Через минуту приходит ответ: предлагает заехать и забрать её.

Вера смотрит на экран, не сразу решаясь ответить. Наташа что-то спрашивает про заказ, и это решает дело быстрее любых раздумий — легче согласиться, чем объяснять подругам, почему муж вдруг перестал за ней заезжать.

«Хорошо», — отправляет она.

Через полчаса Никита заходит внутрь. Здоровается с Наташей и Катей — легко, обаятельно, как умеет только он, — садится рядом с Верой и целует её в щёку, как он делал всегда, когда приезжал за ней. Прикосновение его губ к щеке отзывается где-то в груди резче, чем должно бы. Вере удаётся совладать с собой и убедиться, что никто не заметил её волнения.

Девочки привычно радуются ему — он всегда был душой компании и хорошо шутит. Никита улыбается им ровно настолько тепло, насколько требует роль.

Вера улыбается в ответ, подстраиваясь под тот же тон. Игра начинается сама собой — оба как будто знают правила наизусть, о которых не договаривались.

Никита предлагает развезти всех по домам. Вера садится впереди, Наташа с Катей — на заднее сиденье. Дорога заполняется лёгкой болтовнёй — Катя обсуждает какого-то нового коллегу, Наташа шутит про то, как сложно найти парковку в центре в это время суток. Никита изредка вставляет реплику, поддерживая разговор с той непринуждённостью, которая раньше казалась Вере естественной, а теперь режет слух своей отработанностью — он словно давно заучил этот тон и достаёт его по необходимости, как костюм для особого случая.

Когда высаживают Катю последней, та наклоняется к передним сиденьям и с искренним восторгом произносит:

— Какая же вы красивая и гармоничная пара!

Вера вынуждена улыбаться в ответ, украдкой ловя взгляд Никиты рядом с собой — что-то вроде безмолвного соглашения продолжать спектакль ещё чуть-чуть.

Катя выходит, хлопает дверца. Машина трогается — и лёгкость вечера улетучивается разом, словно выключили свет. Никита смотрит вперёд, на дорогу. Вера — в окно. Ни слова.

На середине пути телефон Никиты подаёт сигнал — короткий, специфический звук, который ни с чем не спутать.

Вера знает этот звук. Знает его слишком хорошо для человека, который якобы никогда не задумывался о его значении. Этот сигнал раздавался и раньше — за ужином, поздно вечером, в самые случайные моменты, — и Никита тогда как бы невзначай убирал телефон в карман или отворачивал экран. Она помнит, как каждый раз объясняла себе это работой, поздними звонками с поставщиками, чем угодно, лишь бы не додумывать до конца.

Сейчас додумывать не нужно. Она просто знает.

Никита не смотрит на телефон. Руки остаются на руле, взгляд — на дороге, как ни в чём не бывало. Демонстративное неведение — слишком демонстративное, чтобы быть настоящим равнодушием.

Вера чувствует, как подкатывает злость — острее, чем привычное оцепенение последних дней. Она поворачивается к нему, голос звучит холодно и отчётливо, без единой дрожи:

— Тебе сообщение пришло. Может, стоит ответить — пока она не решила, что ты слишком долго занят.

Никита вздрагивает — едва заметно, но она видит. Руки на руле сжимаются чуть крепче.

— Вера...

— Я не спрашиваю, кто это, — обрывает она, глядя прямо перед собой. — Мне и не нужно спрашивать. Просто ответь на это сообщение.

Он молчит. Не отвечает ни ей, ни на сообщение. Оставшуюся часть пути они едут в тишине — острое и ощетинившееся молчание, с именем, которое хоть и не прозвучало напрямую, но повисло между ними так же явно, как если бы было выкрикнуто.

Её тиски. Глава 6

Проходит ещё несколько дней. Стена из подушек стала почти незаметной частью кровати — обыденной, как выключатель света. Новое бельё Вера продолжает носить по вечерам, без демонстрации и без стеснения — просто так теперь есть.

Никита за эти дни стал другим — не в словах, а в мелочах, которые она подмечает мимоходом, не вникая. Он дольше обычного задерживается у двери мастерской, прежде чем пройти мимо. Чаще проверяет телефон и тут же убирает его. За ужином иногда роняет взгляд в одну точку, забыв про вилку в руке, и через секунду встряхивается, возвращаясь откуда-то издалека.

Один из дней выдаётся особенно долгим — с самого утра идёт мелкий, нудный дождь, из-за которого запланированная встреча с потенциальным поставщиком тканей срывается, а вместе с ней рушится и вся структура дня, которую Вера выстроила себе как якорь. Без дел время начинает течь по-другому — вязко, слишком медленно, оставляя слишком много пространства для мыслей, которые она обычно успешно вытесняет работой. К вечеру голова уже гудит от одиночества, усиленного этой пустой сорвавшейся встречей, и когда Никита предупреждает, что задержится на деловом ужине, она окончательно решает: оставаться сегодня в доме, с бесконечными комнатами, в которых нечем занять голову, она не в силах.

Она переодевается и уезжает.

Останавливается в тихом баре относительно недалеко от дома — не для того, чтобы напиться, а просто чтобы оказаться среди людей, света, негромкой музыки — хоть чего-то живого после дней, проведённых наедине с собственной головой. Внутри тепло, приглушённый свет, барные лампы отбрасывают мягкие жёлтые пятна на тёмное дерево стойки. Играет что-то негромкое, ненавязчивое — фоном, а не сутью вечера. За соседними столиками сидят такие же случайные посетители буднего вечера — пара, тихо о чём-то спорящая, компания коллег, обсуждающих рабочий проект, одинокий мужчина с ноутбуком в углу. Никто не смотрит в её сторону, и в этой анонимности — редкое, почти забытое облегчение: здесь она просто женщина за столиком, а не жена, не невестка, не тот, за кем нужно постоянно наблюдать со стороны.

Заказывает бокал вина — единственный за весь вечер — и почти не притрагивается к еде: последние дни кусок не лезет в горло, организм давно перестал напоминать о голоде вслух. Вино на пустой желудок бьёт в голову быстрее обычного, но не настолько, чтобы потерять контроль, — лишь размывает края мыслей, которые весь день настойчиво лезли в голову.

Мужчина за соседним столиком делает попытку заговорить, подсесть — она вежливо, но твёрдо отказывает, и одиночество от этого ощущается только острее: хранить верность тому, кто сам эту верность не заслужил, — едва ли не самая одинокая вещь на свете.

Она сидит там ещё долго — не теряя счёт времени, а сознательно его не считая, позволяя себе хоть пару часов просто быть, без роли, без объяснений, без необходимости держать лицо.

Ближе к полуночи достаёт телефон, чтобы вызвать такси, — и упирается взглядом в мёртвый, чёрный экран. Должно быть, разрядился где-то в течение вечера, пока лежал забытым на дне сумки. Просит бармена вызвать ей машину.

Домой едет трезвая, только предельно уставшая, с ледяными от вечернего холода руками. За окном такси проплывают ночные улицы — пустые тротуары, редкие светофоры, мигающие жёлтым в этот час, витрины закрытых магазинов, тускло освещённые изнутри. Водитель молчит, изредка поглядывая на неё в зеркало заднего вида, будто оценивая, всё ли в порядке с пассажиркой, — но не задаёт вопросов, за что она мысленно благодарна. Она прижимается виском к холодному стеклу, наблюдая, как город постепенно редеет, сменяется частными домами и высокими заборами их района, и позволяет себе подумать о том, что скажет, когда войдёт внутрь, — и тут же понимает, что ничего заранее продумать не получится, потому что не знает,

застанет ли Никиту вообще, вернулся ли он с делового ужина, или дом снова встретит её той же безлюдной тишиной, из которой она сбежала несколько часов назад.

Такси останавливается у ворот далеко за полночь. Она расплачивается, выходит — и почти сразу видит Никиту: он стоит у калитки без куртки, растрёпанный — похоже, уже не первый час меряет шагами двор.

— Где ты была?! — он бросается к ней, голос срывается на крик, в котором пополам страх и ярость. — Я обзвонил уже всех, кого мог! Почему ты не берёшь трубку?! С кем ты встречалась?! Посмотри на себя — во сколько ты вообще возвращаешься домой?!

Вера смотрит на него сухими, вымотанными глазами, в которых не осталось сил даже на раздражение — только глухая, беспросветная усталость.

— На каком основании ты допрашиваешь меня, Никита?

— На том основании, что ты моя жена! — он подступает ближе, весь на грани.

Она смотрит на него ещё секунду — и то, что вырывается следом, звучит не криком, а ровной, ледяной констатацией, куда более разрушительной, чем любой скандал:

— Жена?.. Нет. Я никогда ею не была.

И в ту же секунду перед глазами вдруг темнеет — резко, в одно мгновение, как от щелчка выключателя. Земля отдаляется, звуки становятся глухими, как под водой, пол уходит куда-то вбок. Колени подкашиваются.

Никита успевает поймать её за секунду до того, как она оседает на землю.

— Вера! Вера, посмотри на меня!

Его голос доносится откуда-то издалека, словно сквозь толщу воды. Веки тяжелеют, темнота обволакивает края зрения, сужая мир до одной единственной точки — а потом гаснет и она.

Её тиски. Глава 7

Вера просыпается с тяжёлой, будто налитой свинцом головой — не от алкоголя, а от того глубокого, выматывающего нервного истощения, когда тело неделями отказывалось слушаться и наконец взяло своё. Затылок саднит, в висках пульсирует тупая, застрявшая боль.

Первое, что она видит, — прикроватный столик: стакан воды, таблетка обезболивающего рядом, и записка, написанная его почерком: «Врач заезжал ночью — переутомление и обезвоживание, ничего серьёзного, но нужен покой. Мама дома, если что-то понадобится, только позови. Меня, к сожалению, срочно вызвали — сорвалась поставка, разбираться нужно лично, иначе встанет вся работа. Вернусь, как только смогу. Пожалуйста, поешь что-нибудь и не вставай раньше вечера».

Смутно вспоминаются чужие голоса и холодные пальцы на запястье, но не больше — всё остальное провалилось в сон.

Она лежит несколько минут, глядя в потолок, и чувствует облегчение: не придётся сталкиваться взглядом, не придётся ничего объяснять или, того хуже, вспоминать вслух, что именно она сказала ему вчера у ворот — слова, которые, единожды произнесённые, уже нельзя забрать назад.

Днём приходит сообщение: «Как ты себя чувствуешь?»

Она отвечает коротко: «Спасибо, лучше».

Проходит ещё несколько дней. Жизнь возвращается в привычное русло — стена из подушек на месте, тепла между ними не прибавилось, но и открытых столкновений тоже нет. Вежливое, отработанное сосуществование, в котором оба знают свои роли назубок.

За завтраком Никита, не поднимая глаз от телефона, сообщает:

— Самойловы пригласили нас с ночёвкой в их загородный дом. Отказаться нельзя — нужно ехать вдвоём, иначе будут лишние вопросы, а потом разговоры в офисе.

Вера коротко кивает. Ситуация действительно безвыходная — да и играть роль на людях они уже успели отработать.

Загородный дом Самойловых встречает их огнями и смехом ещё на подъезде — судя по количеству машин у ворот, соберётся вся привычная компания. Внутри пахнет камином и жареным мясом, играет негромкая музыка, кто-то уже разливает вино по бокалам в гостиной с высокими окнами и мягкими диванами, обставленной с той нарочитой, дорогой уютностью, которая свойственна домам людей, никогда не жалеющих денег на интерьер.

За ужином разговор крутится вокруг привычных тем — недвижимость, отпуска, чьи-то дети и школы. Виктор Самойлов расспрашивает Никиту про дела на работе, а жена его интересуется у Веры, куда они с Никитой планируют поехать этим летом, — и Вера отвечает что-то обтекаемое, чувствуя, как фальшь собственного голоса режет слух ей самой, хотя, кажется, никто из гостей ничего не замечает.

— А вы двое как познакомились? — спрашивает одна из приглашённых пар, женщина в изумрудном платье, с искренним любопытством. — Вечно забываю эту историю.

Никита отвечает первым, легко, словно рассказывал это уже десятки раз, — что-то про общих знакомых и случайную встречу, — и Вера кивает в нужных местах, поддакивает, не отрывая взгляда от бокала, лишь бы не встретиться с ним глазами в момент этой очередной маленькой лжи.

Вечером, после ужина и нескольких застольных игр, компания давно знакомых пар за бокалом вина затевает старую игру: карточки с вопросами, и за каждый неверный ответ — страстный поцелуй на глазах у всех, под общий смех и одобрительные возгласы.

Первые несколько карточек Вера и Никита отвечают правильно — и оба, кажется, одинаково рады, что не придётся играть на публику всерьёз.

Потом начинаются ошибки.

Первая — на вопросе про любимый десерт Веры. Никита называет что-то совершенно не то, и компания тут же взрывается смехом, требуя расплаты по правилам игры. Все взгляды обращаются на них. Вера чувствует, как жар приливает к щекам — не от самого вопроса, а от того, что сейчас, у всех на виду, придётся коснуться его губами. Никита наклоняется — коротко, почти невесомо касается её губ под одобрительные возгласы гостей. Поцелуй длится едва ли секунду, но дыхание сбивается сильнее, чем должно бы от одного лишь прикосновения губ. Она отстраняется первой, не глядя на него, тянется за бокалом, лишь бы занять руки.

Следующий вопрос задаётся Вере, и она верно отвечает про его любимый аромат духов.

Потом снова он — и снова его ошибка. На этот раз пауза перед поцелуем чуть дольше: он смотрит на неё, будто спрашивая молчаливого разрешения. Вера, вместо того чтобы отвернуться, остаётся на месте. Поцелуй в этот раз длится дольше первого, и ей кажется, что в комнате становится тише — хотя гости по-прежнему шутят и подначивают.

Вера ловит себя на подозрении, которое становится всё труднее отогнать: неужели Никита нарочно отвечает неправильно? Слишком уж вовремя и слишком часто он «путается» именно в тех вопросах, где на кону поцелуй.

— А мне кажется, вы нарочно ошибаетесь — чтобы подольше друг друга не отпускать, — со смехом бросает Лилия Самойлова, оглядывая компанию. — Ребята, вам явно не хватает времени наедине — вам бы почаще уединяться!

Все, переглядываясь, улыбаются. Никита и Вера вынужденно улыбаются тоже, но не смотрят друг на друга.

Очередная ошибка — и комната взрывается смехом и криками «Целуйтесь!». Вера, вопреки собственному изумлению, первой сокращает расстояние между ними. То, что должно было остаться формальностью, данью правилам игры, вдруг перестаёт быть игрой вовсе. Поцелуй затягивается — жадный, настоящий, — и оба забывают, где находятся и сколько прошло времени.

Когда Вера наконец приходит в себя, комната уже совершенно пуста. Гости — тактично, кто посмеиваясь, кто украдкой — разошлись по другим помещениям дома, оставив их одних.

И тут же, разом, возвращается всё: его слова отцу, подушки посреди кровати, особый сигнал сообщения из его телефона. Фальшь этого поцелуя, даже такого сладкого, вдруг становится невыносимой. Вера резко отстраняется, отталкивает его руки и уходит — быстро, не оборачиваясь — в комнату, которую им выделили на ночь.

Никита идёт следом. Входит без стука, закрывает за собой дверь.

— Вера... — он подходит к ней ближе. В глазах читается желание.

Он берёт её за руку и пытается притянуть к себе ближе.

— Вера... — шепчет он снова, пытаясь поцеловать её в шею.

— Не надо, — обрывает она, освобождая руку. — Я не могу заниматься любовью с тем, кто любит другую.

Эти слова обрушиваются на Никиту, как ледяная вода. Что-то в его лице меняется и гаснет. Он молчит, разворачивается и выходит, тихо прикрыв за собой дверь.

Вера остаётся одна. Ложится, не раздеваясь до конца, и долго смотрит в темноту чужой спальни, слыша, как в других комнатах смеются и разговаривают счастливые друзья. Никита не пришёл спать в их комнату в эту ночь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.